

СОВЕТСКОЕ ОБЩЕСТВО В СОВРЕМЕННЫХ КОНТЕКСТАХ

УДК 930.1(091)(47+57)

doi: 10.17072/2219-3111-2017-3-82-88

ПОНЯТЬ ПОВСЕДНЕВНОСТЬ: ЭВРИСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ КОНЦЕПЦИИ В ИССЛЕДОВАНИЯХ СОВЕТСКОЙ ЭПОХИ

А. И. Казанков, О. Л. Лейбович

Пермский государственный институт культуры, 614045, Пермь, ул. Газеты Звезда, 18

oleg.leibov@gmail.com

tokugava2005@rambler.ru

Исследуются эвристические возможности концепции повседневности в историческом исследовании и определяется ее место в историографической традиции. Повседневность в терминах философской парадигмы Э. Гуссерля рассматривается как категория гуманитарного, в частности исторического, знания, описывающего наличные, опривыченные, не нуждающиеся в рефлексии, ценностно ориентированные образы действительности, собственного "я", различения своих и чужих, т.е. все то, что образует жизненный мир и конкретного сообщества людей в определенном пространственно-временном континууме и соответствующие ему практики. Э. Гуссерль сформулировал проблему: почему одни и те же предметы опыта обладают одним и тем же смыслом для разных людей и почему они обозначаются одними и теми же предикатами? Формулируются принципы исследования: редукция, индивидуация, плотное описание. Показывается соотношение концепции повседневности и микроистории. Характеризуется круг источников и методы работы с ними. Исследование повседневности не претендует на обобщения. Но, правильное истолкование этих свидетельств позволяет понять ситуацию, в которой они становятся возможны, увидеть «большую историю» снизу, глазами ее участников, объяснить их действия, на первый взгляд «неправильные», абсурдные и иррациональные, зафиксировать их контринституциональное содержание. Использование концепции повседневности открывает перспективу для более корректного выявления природы кризиса советской системы, а именно выявления степени рассогласования институциональной логики и частных практик конкретных акторов, «заглянуть в голову» которых нет никакой иной возможности.

Ключевые слова: методология истории, концепция повседневности, советская история, Э. Гуссерль.

Историк советского времени объективно, «в силу сложившихся обстоятельств», вынужден работать в ситуации краха социалистического эксперимента. Этот финал вольно или невольно определяет его исследовательскую позицию и методологический выбор. В исторической литературе сложились несколько подходов к интерпретации произошедшего. До сих пор доминирует институциональный подход, определяемый концепцией тоталитаризма; он используется, например, в работах С.А. Красильникова [Социальная мобилизация..., 2011], М. Юнге [Юнге, 2008] и других. Родовой чертой этого подхода можно считать гипертрофированный интерес к властным учреждениям и проводимым ими мероприятиям. Между тем реальные возможности власти в сфере контроля массовых практик вряд ли можно признать всеобъемлющими: культурный уровень агентов власти, находящиеся в их распоряжении средства коммуникации (и скорость, с которой они работали) были явно недостаточны для того, чтобы унифицировать поведенческие реакции рядовых граждан.

Так, в 1937 г. готовившиеся к вступлению в члены ВКП(б) молодые горожане ничего не знали о символах эпохи: не могли опознать портреты В.И. Ленина и И.В. Сталина: «И когда мы стали спрашивать, так они ни Сталина, ни Молотова не знают. Висит у них Ленин и Сталин, и они не видят эти портреты. Когда им сказали, что у Вас есть портреты, они говорят: "Они ведь высоко висят, не видно". А ведь этим людям 22 года, они ничего общего со старым не имеют. Они воспитаны

в нашем духе. Их спрашивают – в клуб ходите? “Да”, западные танцы знаете? “знаем”, а вот Сталина не знают» (Стенограмма VII пленума..., 1937, л.67).

Упоминаний подобного рода в партийных документах 1930–1940-х гг. можно обнаружить много. В самом конце 70-х гг. XX в. студент-политехник на экзамене по научному коммунизму не смог назвать ни одного члена политбюро ЦК КПСС. На реплику члена ГЭК: «Как вы можете не знать руководителей нашей партии?» – экзаменуемый без тени смущения ответил: «Да я вообще всех этих ваших не знаю». Комиссия посоветовалась и поставила ему оценку «хорошо».

Создается впечатление, что сторонники концепции тоталитаризма исследуют другое общество, где люди не просто говорят по-большевистски, но и думают в унисон с руководящими органами партии, более того – выстраивают свою судьбу в соответствии с директивами ЦК. Заметим, что наиболее ясно эта идея в настоящее время выражена в трудах приверженцев новой концепции советской субъектности. Для Й. Хелльбека, например, советский человек 30-х гг. XX в. выстраивал свое «Я» в соответствии с господствующей активистской и коллективистской советской идеологией: «Без преувеличений, коммунистический проект может рассматриваться как грандиозный “Я” – проект по превращению несовершенных партикуляристских человеческих существ в универсальных социализированных субъектов» [Интервью..., 2002, с. 222]. Й. Хелльбек и его коллеги отвергают концепцию тоталитаризма как продукт «холодной войны», тем не менее не оспаривая ее основной тезис: растворение человеческого «Я» в советской идеологии. Только там, где сторонники концепции тоталитаризма видят уничтожение человеческой личности, их критики, напротив, находят ее возвышение.

Мы видим циркуляцию идей – от исходного тезиса к его отрицанию и затем к отрицанию отрицания, т.е. к утверждению на новом уровне исходного тезиса: «Институты советского общества (власть) эффективно формировали поколения энтузиастов». В одном случае их назвали «винтиками», т.е. слепыми акторами отчужденной от них системы [Геллер, 1994]. В другом случае видели в них мыслящих субъектов, постоянно работающих над собой, непрерывно «себя под Сталиным» чистящими¹.

Мы упустили необходимое звено в этой череде отрицаний – ревизионистскую историографию, ярким примером которой являются труды Ш. Фитцпатрик (см. [Солонарь, 2016, с. 234–244]). В рамках этой традиции была предпринята попытка выйти за пределы анализа политических институтов и обратиться к институтам социальным: семье, общине, колхозу, заводу, школе. Это позволяло увидеть картину советской истории более красочной и многомерной, но все-таки не объясняло того, как эти институты, лишённые поддержки, внезапно оказались в ситуации тяжелого кризиса, который пережили не все из них (см. [Дэвид-Фокс, 2001]).

Ревизионистская историография впервые обратила внимание на то обстоятельство, что функционирование политических институтов корректировалось многочисленными конвенциями рядовых исполнителей, их партикулярными интересами, кругом общения, горизонтами их жизненного мира. Согласимся с мнением Г.А. Янковской: «Выяснилось, что “обычный человек”, даже если он стоит на низших ступенях иерархии и играет по правилам, не им заданным, то он все равно “прогибает” эти правила под себя» [Янковская, 2009, с.398]. Тем самым, по сути, был введен новый предмет исторического исследования. Для понимания его специфики нужно ясно представить, что историку предлагается обнаружить ментальные структуры и реконструировать мотивационную сферу рядовых субъектов исторического действия, а не только агентов власти.

Реализация подобного проекта требует особой методологии, специфического круга источников и техник их интерпретации. По нашему мнению, наиболее адекватным исследовательским инструментарием может стать концепция повседневности. Заметим, что в современной ситуации концепт «повседневность» уже нуждается в уточнении.

Впервые представление о повседневности как особом предмете философского истолкования сложилось в трудах Э. Гуссерля в первые два десятилетия XX в. (см.: [Вандерфельс, 1999]). Для нужд социологии гуссерлианскую «повседневность» адаптировал А. Шюц в 30-х гг., а в 60-х гг. его подход получил развитие в «социологии знания» П. Бергера и Т. Лукмана (см.: [Казанков, 2016]). В контексте исторического исследования повседневность стала главной темой одной из ревизионистских школ в Германии на рубеже 70-х гг. XX в. [Людтке, 2010]. Отечественная традиция изучения повседневности, возникшая чуть позже, в работах А.Я. Гуревича и Н.Я. Эйдельмана, была продолжена в середине 90-х гг. в исследованиях Н.Н. Козловой, Н.Б. Лебиной, И.В. Нарского и др. Следу-

ет упомянуть инициативу А.Л. Юрганова, считавшего необходимым изучать жизненный мир советских историков для понимания развития исторической науки в сталинскую эпоху [Юрганов, 2011, с.12].

В настоящее время вся известная нам литература по исторической повседневности четко делится на два направления. В рамках первого концепция трактуется как таковая – как она сложилась в европейском гуманитарном дискурсе. Другое направление характеризуется тем, что в нем принята попытка операционализировать концепцию повседневности и затем применить к исследованию советской эпохи. Упомянутые ранее авторы принадлежат ко второму направлению, но мы не ставим перед собой задачу выявления специфики каждого из авторских подходов. Заметим только, что отечественные историки делают акцент прежде всего на повседневных практиках и только во вторую очередь обращаются к изучению ментальных структур. Поэтому попытаемся сформулировать нашу методологическую позицию с исходной точки.

Первая проблематизация повседневности была осуществлена Э. Гуссерлем в пределах сугубо философской рефлексии. Выстраивая свою «философию как строгую науку», он столкнулся с необходимостью описать процесс превращения допредикативного (и в этом смысле – животного, бессловесного) живого опыта восприятия мира в осмысленный, наделенный предикатами (определениями) мир культуры: «...Каждый, и притом а priori, живет в одной и той же природе, которой он, с необходимостью соединяя свою жизнь с жизнью других, придает форму мира культуры, мира, наделенного человеческими значимостями, на какой бы примитивной ступени этот мир не находился» [Гуссерль, 1998, с. 253]. Если предельно упростить вопрос, то он может быть сформулирован так: почему одни и те же предметы опыта обладают одним и тем же смыслом для разных людей и почему они обозначаются одними и теми же предикатами?

Разрешая эту проблему, Э. Гуссерль ввел представление об интерсубъективном *жизненном мире* совместного претерпевания и действия, наиболее стабильной, ригидной, опривыченной практической областью которого является *повседневность*. Именно в ней укоренено единство предикатов опыта, она может быть истолкована как источник воспроизводства единства осмысленного мира. Статичность повседневности дополнялась у Э. Гуссерля открытостью горизонта жизненного мира, откуда приходят инновации, которым еще предстоит быть «перемолотыми», перетертыми в «осадок» – для того, чтобы вновь стать частью повседневности. Именно в этом смысле повседневность трактовалась в рамках последующей социологической традиции.

Попытаемся понять, что значит «повседневность» для историка. Повседневность рассматривается нами как категория исторического знания, описывающая наличные, опривыченные, не нуждающиеся в рефлексии, ценностно ориентированные образы действительности, собственного «я», различения своих и чужих, т.е. всего того, что образует жизненный мир и конкретного сообщества людей в определенном пространственно-временном континууме и соответствующие ему практики. От социологической дефиниции «повседневности» *ее историческая разновидность* отличается тем, что охватывает не только частную сферу жизни, но и публичную в той мере, в какой люди делают ее своей, придают ей собственные смыслы и осуществляют соответствующие этим смыслам поведенческие акты.

Дело не только в том, что деление на приватную и публичную сферы – достаточно новое историческое явление, которого люди традиционной культуры не знали, но и в том, что в их жизненном мире могут *соединяться* в одно целое и дом, и завод, и даже страна – правда, только в пределах мифа. Коллективный опыт, производящий общие смыслы, включает в себя и совместные практики освоения государственных институтов, религии и идеологических норм. Сам же коллективный опыт не ограничен единством времени и места. В нем присутствуют предшествующие человеческие истории: первичной социализации, социального взросления и прочее, т.е. наследие прежних коллективных практик. Именно эти личные истории, предшествующие совместному освоению действительности, и придают своеобразие повседневности разных групп людей, проживающих в сходных условиях и занятых одним и тем же делом.

Вопреки расхожему мнению, это отнюдь не бытописание, не регистрация рутинных практик и не фиксация предметного мира людей. В первую очередь это опыт истолкования тех смыслов, которыми участники исторического процесса коллективно наделяют вещи, события, поступки. Это, затем, раскрытие тех «привычек сознания», автоматизмов мысли и языка, которые прослеживаются в сохранившихся письменных источниках. Речь идет, на первый взгляд, о таких

простых «вещах сознания», как восприятие времени, пространства, своих и чужих, самого себя. Обо всем том, что делает нашу жизнь осмысленной и внятной.

Такой подход к истории существенно меняет исследовательскую оптику. Его суть может быть изложена в виде нескольких методологических принципов. Прежде всего речь идет о *редукции*. Редуцированию должны быть подвергнуты любые содержательные презумпции: готовые теоретические схемы, объяснительные модели, любое знание о том, «что было потом и на самом деле». Иначе говоря, историк, как и социолог, в данном случае должен воздерживаться «...от причинных и генетических гипотез» [Бергер, 1993, с.39].

Следующим принципом исследования повседневности является фиксация пространственно-временных локусов (индивидуации), что типично для микроисторического подхода. Повседневность – это то, что по определению ускользает от любой генерализации (обобщения в масштабах эпохи, региона или страны), поскольку существует лишь для конкретного круга людей. Иначе говоря, не может быть повседневности всех советских историков. Она может быть истолкована только в масштабе кафедры, университета либо сообщества узких специалистов, знающих друг друга лично и регулярно встречающихся на конференциях, семинарах и совещаниях. Так называемый «биографический подход», по нашему мнению, является необходимым элементом исторического исследования повседневности в силу того, что человек формирует свою ментальность не только под воздействием ближнего окружения, но и в равной степени в процессе социального созревания.

Необходимым дополнением к изложенному можно считать принцип плотного описания, дескрипции, требующий предъявлять и истолковывать содержание конкретного жизненного мира, в какой бы форме оно не было выражено в источниках – в виде «случайных» оговорок, развернутых суждений, метафор, оценок, резонерства (см. [Geertz, 1973]).

Указанные принципы изучения можно применить как к источникам личного происхождения, так и к официальной документации в том случае, если она содержит следы коллективных представлений. И здесь кажется уместным обратиться к уликовой парадигме К. Гинзбурга, уподобившего историка Шерлоку Холмсу, восстанавливающему по отпечаткам, неясным знакам мир повседневности (см. [Гинзбург, 2004]).

В комплексе источников, сохранившихся в государственных архивах, эго-документы составляют незначительную часть. Прежде всего по той причине, что дневники, личные письма, фотоальбомы, записки относятся к приватной сфере. В архивные единицы хранения они попадают в том случае, если сами авторы или их наследники считают важным сохранить их для истории. Возможен и другой вариант. При аресте сотрудники карательных органов изымали личные бумаги, которые могли быть доказательным материалом в ходе следственных действий. В архивно-следственных делах можно найти и аккуратно перепечатанные дневниковые записи, и компрометирующую переписку.

Впрочем, в бумагах, составленных следователями в 1920–1930 гг., можно найти и материалы, проходящие по ведомству так называемой «инквизиторской антропологии» (см.: [Ле Руа Ладюри, 2001]). Следователи ОГПУ-НКВД подолгу расспрашивали арестованных об их социальном происхождении, личных и корпоративных связях, деталях биографии, круге чтения, поступках и высказываниях, заставляли характеризовать других людей, разъяснять непонятные символы и пр. Людям с образованием иногда предлагали собственноручно написать «рассказ о своих преступлениях», в действительности же – историю своей жизни. Историк, работающий в парадигме повседневности, может извлечь из этих материалов массу ценной информации о языке, стиле мышления, представлениях о норме и патологии, о смыслах рутинных практик и «подручных вещей».

Услышать голос времени можно как в протоколах и стенограммах партийных собраний, так и в сводках и агентурных донесениях в ОГПУ-НКВД. Например, на пленуме Пермского городского комитета ВКП(б) дебатировался вопрос о работе с молодежью. Участники пленума самокритично признают: плохо еще работаем с союзной и несоюзной молодежью. Надо нацелить партийные организации, подтянуть, призвать, взыскать с виновных. Секретарь горкома бросает реплику: «Тов. Клюев: бить надо колуном между лопатками» (Стенограмма VII пленума..., 1937 (2), л.122). Стенограмма правленая. Стало быть, метафора секретаря вполне укладывается в языковую норму и выдает стиль мышления, а с ним и социальный опыт («колун» пришел из дровяного сарая или из сельских драк из-за межи).

Чтение этих документов убеждает, например, в том, что выражение «быть с хлебом» не является метафорой сытости, а описывает обычную повседневную диету крестьянина в середине 30-х гг. на западе Свердловской области: «И я как единоличник не имел совершенно хлеба, жил плохо, имел продовольственные затруднения. Мичков (священник. – А.К., О.Л.) это знал, и в 1936 г. неоднократно приглашал меня к себе на квартиру под предлогом что "даст хлеба". Я приходил, и он действительно мне хлеба давал, давал собранные им куски от верующих» (Протокол допроса..., 1937, л. 97об.).

Возникает вопрос: в чем именно состоит эвристический потенциал концепции повседневности? Только ли в детализации исторического знания, позволяющей корректировать представления о масштабных исторических процессах? Допустим, мы выяснили, что единоличник Швецов был рад краюхе хлеба, священник его деревни собирал пожертвования «кусками хлеба», а какой-то секретарь горкома ВКП(б) использовал в кругу партийцев разбойничий лексикон. Нам могут возразить, что, возможно, были другие, отличающиеся от них крестьяне, священники и партийные вожаки. Действительно, работа в парадигме исследования повседневности не претендует на обобщения. Но, правильно истолковав эти свидетельства, мы можем понять ситуацию, в которой они становятся возможны, увидеть «большую историю» снизу, глазами ее реальных участников; можем объяснить их поступки и действия, на первый взгляд «неправильные», абсурдные и иррациональные, зафиксировать их контринституциональное содержание. Не будем типизировать. Согласимся с мнением П.Ю. Уварова о том, что и в абсолютно нетипичном случае можно найти «очень богатую информацию о различных слоях культуры, о "возможном и невозможном"..."» [Уваров, 2004, с.60].

На наш взгляд, использование именно концепции повседневности открывает перспективу для более корректного выявления природы кризиса советской системы. Речь идет о выявлении степени рассогласования институциональной логики и частных практик конкретных акторов, «заглянуть в голову» которых нет никакой иной возможности.

Примечания

¹ «...Советское время наделило всех индивидуальными чертами, помогло каждому распознать в себе личность. Из атомов действия пытались создать индивидуальности» [Хархордин, 2002].

Список источников

- Протокол допроса свидетеля Ф.М. Швецова 4.09.1937 г.// ПермГАСПИ. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 12702. Т. 1. Л. 97.
Стенограмма VII пленума (Пермского) Горкома ВКП(б). 3 03 1937. Т.2 // ПермГАСПИ. Ф.1. Оп.1. Д.1350.
Стенограмма V-го пленума Пермского городского комитета ВКП(б). 17 11 1937 // ПермГАСПИ. Ф.1. Оп.1. Д. 1362.

Библиографический список

- Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности: Трактат по социологии знания. М.: Медиум, 1993. 323 с.
Вальденфельс Б. Феноменология опыта Эдмунда Гуссерля // Вальденфельс Б. Мотив чужого. Минск: ПроPILEI, 1999. С.141–162.
Геллер М. Машина и винтики. М.: ПИК, 1994. 336 с.
Гинзбург К. Мифы – эмблемы – приметы: морфология и история: Сб. статей. М.: Нов. изд-во, 2004. 348 с.
Гуссерль Э. Картезианские размышления. СПб.: Наука; Ювента, 1998. 316 с.
Дэвид-Фокс М. Семь подходов к феномену советской системы // Американская русистика: Вехи историографии последних лет. Советский период. Антология. Самара: Изд-во Самарского ун-та, 2001. С. 20–44
Интервью с Игалом Халфиным и Йоханом Хелльбеком / перев. М. Могильнер // Ab Imperio. 2002. №3. С. 217–284.
Казанков А.И. Время местное: хроники провинциальной повседневности. Пермь: изд-во Пермского государственного института культуры, 2016. 162 с.
Ле Руа Ладюри Э. Монтайю, окситанская деревня (1294–1324). Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2001. 544 с.

Людтке А. История повседневности в Германии: Новые подходы к изучению труда, войны и власти. М.: РОССПЭН, 2010. 271 с.

Солонарь В.А. Рец.: Fitzpatrick Sh. On Stalin's Team: The Years of Living Dangerously in Soviet Politics. Princeton: Princeton University Press, 2015. xi, 384 p. // Историческая экспертиза. 2016. № 3. С. 234–244.

Социальная мобилизация в сталинском обществе: институты, механизмы, практики: сб. науч. статей. Т. 1. / под ред. С.А. Красильникова. Новосибирск: Изд-во НГУ, 2011. 189 с.

Уваров П.Ю. Франция XVI в.: опыт реконструкции по нотариальным актам. М.: Наука, 2004. 671 с.

Хархордин Олег: Обличать и лицемерить – это по-русски. URL: <http://www.peoples.ru/science/philosophy/harhordin/2002> (дата обращения: 17.05.2017).

Юнге М., Бордюгов Г., Биннер Р. Вертикаль большого террора. История операции по приказу НКВД №00447. М.: Нов. хронограф; АИРО–XXI, 2008. 784 с.

Юрганов А.Л. Русское национальное государство. Жизненный мир историков эпохи сталинизма. М.: Изд-во РГГУ, 2011. 768 с.

Янковская Г.А. Историографические образы позднего сталинизма // Астафьевские чтения. Время «веселого солдата»: ценности послевоенного общества и их осмысление в современной России. Пермь, 2009. С. 393–402.

Geertz C. Thick descriptions toward an interpretive theory of culture // Geertz C. The interpretation of culture. New York: Bane book, 1973. Ch. 1. P. 3–30.

Дата поступления рукописи в редакцию 20.06.2017

UNDERSTANDING THE DAILY LIFE: THE HEURISTIC POTENTIAL OF THE CONCEPT IN THE STUDIES OF THE SOVIET ERA

A. I. Kazankov, O. L. Leibovich

Perm State Institute of Culture, Gazety Zvezda str., 18, 614045, Perm, Russia

oleg.leibov@gmail.com

tokugava2005@rambler.ru

The article deals with the heuristic potential of the concept of everyday life in historical research and indicates its place in the historiographic tradition. Everyday life, in terms of the philosophical paradigm of E. Husserl, is considered as a category of humanitarian, in particular, historical knowledge, describing available, accustomed, not needing reflection, value-oriented images of reality, of the self, of distinguishing oneself and others, i.e. everything that forms the vital world and the concrete community of people in a certain space-time continuum and the corresponding practices. Husserl formulated the problem: why do the same subjects of experience have the same meaning for different people and why are they denoted by the same predicates? The article formulates the research principles: reduction, individuation, and dense description. The relationship between the concept of everyday life and microhistory is described. Working in the paradigm of the study of everyday life does not pretend to generalize. But, firstly, correctly interpreting those testimonies, we can understand the situation in which they become possible, we can see the “big story” from below, through the eyes of its real participants. Further, we can explain their actions, at first glance looking “wrong”, absurd and irrational, and we can understand their counter-institutional content. The concept of everyday life opens the prospect for a more correct identification of the nature of the crisis of the Soviet system. It means revealing the degree of discrepancy between institutional logic and private practices of specific actors, as there is no other possibility to “peep into their heads”.

Key words: methodology of history, the concept of everyday life, the Soviet history, E. Husserl.

References

Berger, P. L., Luckman, T. (1993), *Sotsialnoe konstruirovaniye realnosti. Traktat po sotsiologii znaniya* [The Social Construction of Reality. A Treatise on Sociology of Knowledge], Medium, Moscow, Russia, 323 p.

Valdenfels, B. (1999), “The phenomenology of the experience of Edmund Husserl”, in Valdenfels, B., *Motiv chuzhogo* [Motive of a stranger], Propilei, Minsk, Belarus, pp. 141-162.

Ginzburg, C. (2004), *Mify-ehmblemy-primety: morfologiya i istoriya* [Myths-emblems-signs: morphology and history], Novoe izdatel'stvo, Moscow, Russia, 348 p.

Geller, M. (1994), *Mashina i vintiki* [Machine and cogs], PIK, Moscow, Russia, 336 p.

Geertz, C. (1973), “Thick descriptions toward an interpretive theory of culture”, in Geertz, C., *The interpretation of culture*, N.Y.t Bane book, New York, USA, Ch. 1, pp. 3-30.

- Husserl, E. (1998), *Kartezianskie razmyshleniya* [Cartesian meditations], Nauka; Yuventa, St. Petersburg, Russia, 316 p.
- David-Fox, M. (2001), “Seven approaches to the phenomenon of the Soviet system”, in *Amerikanskaya rusistika: Vekhi istoriografii poslednih let. Sovetskiy period. Antologiya* [American Russian Studies: Milestones of historiography of recent years. The Soviet period. Anthology], Samarskiy universitet, Samara, Russia, pp. 20-44.
- Kazankov, A. I. (2016), *Vremya mestnoe: khroniki provintsialnoy povsednevnosti* [Local time: the chronicles of local daily occurrence], Izd-vo Permskogo gosudarstvennogo instituta kul'tury, Perm, Russia, 163 p.
- Le Rua Ladyuri, E. (2001), *Montayu, oksitanskaya derevnya (1294-1324)* [Montaio, an oxitan village (1294-1324)], Izdatelstvo Uralskogo universiteta, Yekaterinburg, Russia, 544 p.
- Lyudtke, A. (2010), *Istoriya povsednevnosti v Germanii: novye podhody k izucheniyu truda, vojny i vlasti* [History of everyday life in Germany: new approaches to the study of labor, war and power], ROSSPEN; German-skiy istoricheskiy institute v Moskve, Moscow, Russia, 271 p.
- Krasilnikov, A.S. (ed.) (2011), *Sotsialnaya mobilizatsiya v stalinskom obshchestve: instituty, mekhanizmy, praktiki* [Social mobilization in the Stalinist society: institutions, mechanisms, practices], Vol.1, Izd-vo NGU, Novosibirsk, Russia, 189 p.
- Uvarov, P.Yu. (2004), *Frantsiya XVI veka: opyt rekonstrukcii po notarial'nym aktam* [France of the XVI century: reconstruction experience in notarial acts], Nauka, Moscow, Russia, 671 p.
- Harhordin, O. (2002), *Oblichat i licemerit – eto po-russki* [To denounce and to hypocrite – it is in Russian style], available at: <http://www.peoples.ru/science/philosophy/harhordin/> (accessed 17.05.2017).
- Junge, M., Bordyugov, G. & R. Binner (2008), *Vertikal bolshogo terror. Istoriya operacii po prikazu NKVD 00447* [Vertical of great terror. The history of the operation on the orders of the NKVD №00447], Novyy hronograf; AIRO-XXI. Moscow, Russia, 784 p.
- Yurganov, A.L. (2011), *Russkoe natsionalnoe gosudarstvo. Zhiznenny mir istorikov ehpoi stalinizma* [Russian national state. The Life World of Historians of the Stalinist Epoch], Izd. RGGU, Moscow, Russia, 768 p.
- Yankovskaya, G.A. (2009), “Historiographical images of late Stalinism”, in *Astafyevskie chteniya. Vremya «veselogo soldata»: tsennosti poslevoennogo obshchestva i ih osmyslenie v sovremennoy Rossii* [Astafiev readings. The Time of the “Merry Soldier”: The Values of the Post-War Society and Their Understanding in Modern Russia], Memorialnyy centr istorii politicheskikh repressiy «Perm-36», Perm, Russia, pp. 393-402.